

пророки, учителя или хотят быть учителями, а Пушкин только поэт, только художник». Даже почитатели пушкинской поэзии убеждены, что она побеждает «не силою мысли, а прелестью формы», не способны отдать себе отчет в том, что «легкая, светлая муза Пушкина, эта резвая «шалунья», «вакханочка», как он сам ее называл... мудрее мудрых» [3, с. 93, 94].

В противовес этому мнению Мережковский показывает и утверждает в сопоставлениях Пушкина с величайшими русскими мыслителями, что подлинная мудрость — это мудрость Пушкина. «Это — не аскетическое самоистязание, жажда мученичества во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева». 6 десятилетий, отделяющих год смерти поэта от года, когда Мережковский писал свою статью о нем, были, по его убеждению, временем распада, утраты того бесценного, что заключала в себе мудрость Пушкина: «Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя, самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодец, бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту, бегство Льва Толстого от ужаса смерти в жалость — только ряд ступеней, по которым мы сходим все ниже и ниже...» [3, с. 103]. Мережковский напоминает об «одной характерной особенности, которая, однако, отразилась на всей последующей русской литературе: Пушкин первый из мировых поэтов с такою силою и страстностью выразил вечную противоположность культурного и первобытного человека» [3, с. 109].

Верный постоянному стремлению анализировать и оценивать Пушкина в историко-литературном и историко-философском контексте, видеть нити, связующие его с предшественниками, современниками и последователями, Мережковский усматривает в Пушкине наиболее глубокий и свободный от односторонности и однолинейности итог тех исканий, которыми были поглощены многие русские писатели: и Баратынский с его сомнениями в благах культуры и знания, и Лермонтов с его «противоположением» спокойствия и красоты природы суеи и уродству людей, и Тютчев, отыскавший древний хаос в самом сердце человека, и русские прозаики, прежде всего Толстой и Достоевский, которые «превратили в боевое знамя, в поученье для толпы, в благовестие» то, что «русские лирики выражали малодоступным языком» [3, с. 109].

Но еще важнее для Мережковского, что идеи тех, кто стал властителями дум в конце XIX в., первоначально в «немногих словах», но в «неистребимой форме совершенства» были высказаны Пушкиным. «Вся проповедь Льва Толстого против городской жизни, внешней власти, денег есть только развитие, повторение» сказанного Пушкиным. Притом Пушкин смотрит глубже и видит вернее: «... он не преувеличивает подобно Льву Толстому счастья и добродетелей первобытных людей» [3, с. 113, 116]. Пушкин «очертил горизонт русской литературы, и все последующие писатели должны были двигаться и развиваться в пределах этого горизонта. Жестокость Печорина и доброта Максима Максимовича, победа сердца Веры над отрицанием Марка Волохова, укрощение нигилиста Базарова ужасом смерти, смирение Наполеона-Раскольникова, читающего Евангелие, наконец, вся жизнь и все творчество Льва Толстого — вот последовательные ступени в развитии и воплощении того, что угадано Пушкиным» [3, с. 123].

Сама по себе мысль, что Пушкин в русской литературе — это начало всех начал, что все последующие творческие искания опирались на сделанное Пушкиным, мысль эта успела стать трюизмом уже для современников Мережковского, и если бы критик на ней и остановился, его статья вряд ли заслуживала бы того интереса, которого она, на наш взгляд, заслуживает. Дело в том, что усвоение Пушкина сочеталось с удалением от него, развитие одной стороны пушкинской гармонии — с умерщвлением другой. Этот свой важнейший тезис Мережковский сформулировал так: «Трагизм русской литературы заключается в том, что с каждым шагом все: